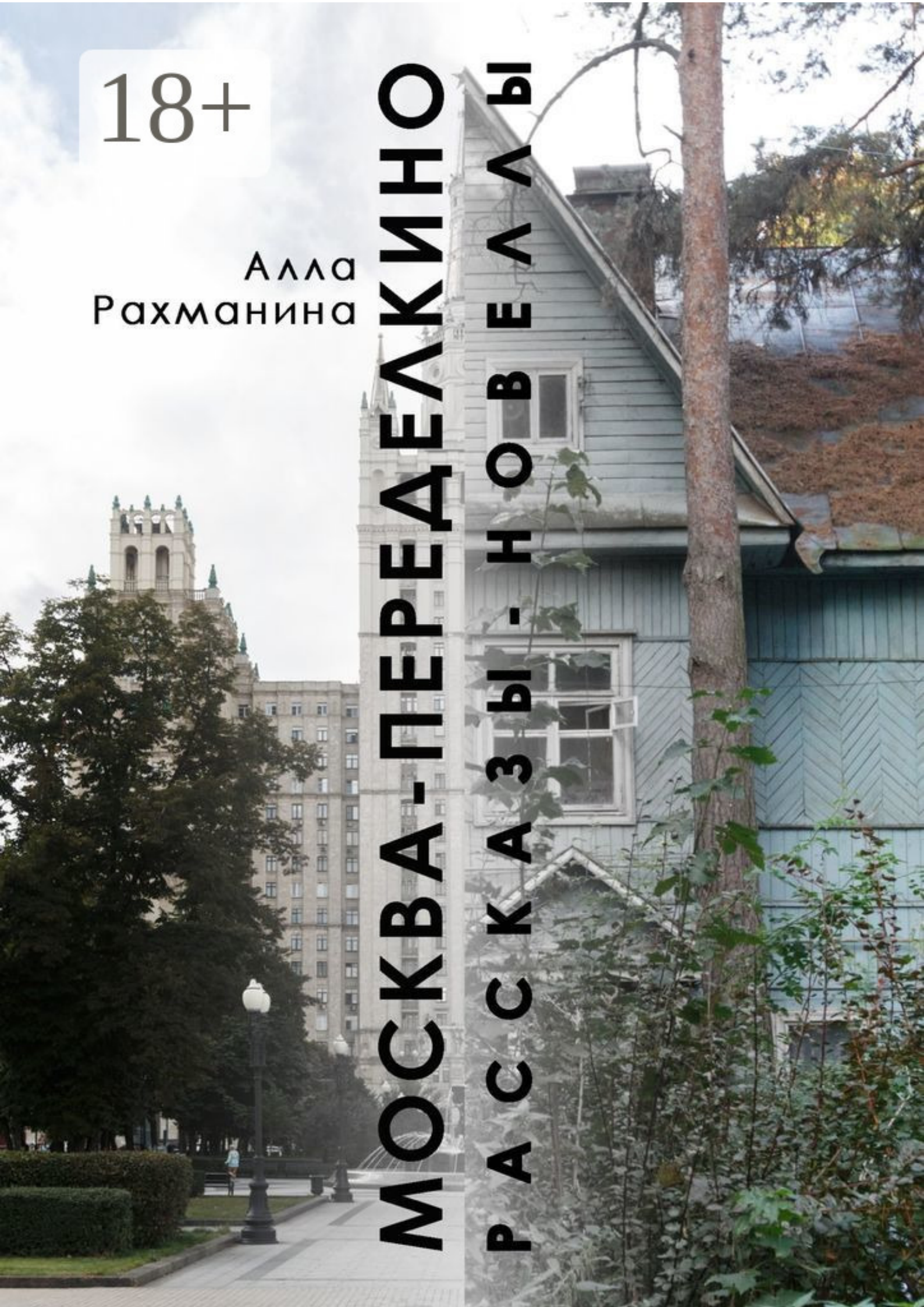


18+

Алла  
Рахманина

МОСКВА-ПЕРЕДЕЛКИНО  
РАССКАЗЫ - НОВЕЛЛЫ



Алла Рахманина  
**Москва – Переделкино.**  
**Рассказы-новеллы**

«Издательские решения»

**Рахманина А.**

Москва – Переделкино. Рассказы-новеллы / А. Рахманина —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-515416-3

Рассказы-размышления, написанные в сталинской «высотке» в Москве и на литфондовской даче в подмосковном Переделкине, повествуют о быте позднесоветской интеллигенции, о нравах литературной среды, о человеческих и профессиональных отношениях в условиях изменчивой действительности.

ISBN 978-5-00-515416-3

© Рахманина А.  
© Издательские решения

## Содержание

МОСКВА	6
Встреча	6
Что видит кошка?	8
За хлебом	10
Время	12
Свидание	13
Национальный вопрос	15
1	15
2	17
3	19
Лав-стори	22
1	22
2	23
3	25
4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Москва – Переделкино

## Рассказы-новеллы

### Алла Рахманина

К. Иоутсен *Редактор*

К. Иоутсен *Дизайнер обложки*

А. Ленина *Дизайнер обложки*

Т. Князева *Корректор*

Т. Петрикеева *Корректор*

А. Ленина *Фотограф*

© Алла Рахманина, 2021

© К. Иоутсен, дизайн обложки, 2021

© А. Ленина, дизайн обложки, 2021

© А. Ленина, фотографии, 2021

ISBN 978-5-0051-5416-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# МОСКВА

## Встреча

Завидовала.

Всегда.

Сколько себя помню.

Всем, кто произносил это слово. Одно-единственное, совсем короткое.

Всем, кто произносил его по отдельности и вместе с другими словами. По случаю и без.

Обращаясь к кому-то или рассказывая о ком-то.

На тех, кого словом этим называли, я смотрела с тайным, немым благоговением. И неизменно удивлялась, замечая в них какие-то чересчур обычные, чересчур бытовые качества. Не могла понять, почему они с таким – кажущимся? – терпением стоят в очередях или громко хохочут над собственными – собственными ли? – остротами.

На улицах, в метро, в лифтах я всё время оглядывалась, приглядывалась. Словно хотела обнаружить, разгадать, запечатлеть в памяти неповторимые черты – хотя бы одну чёрточку! – человека, которого могла бы я назвать этим словом.

Я неутомимо искала этого человека. Важен был любой след. Самый незначительный. Постоянно перебирала в памяти всё, что имело бы хоть какое-то к нему отношение. Когда обрывочные зыбкие сведения, воспоминания о чьих-то воспоминаниях заводили в тупик, я принималась перебирать вещи, окружавшие меня и – некогда, возможно, – его.

У вещей есть память. Говорят, «тоже» есть, но нередко эта память гораздо надёжней человеческой. Нередко, но не всегда. Того, что было с ним непосредственно связано, к чему прикасались его руки, давно не стало.

А может, и вовсе не было? Как и его самого – в моей жизни?

Но почему тогда мне так отчаянно его не хватало, почему постоянно недоставало его дружбы, его покровительства, его любви?

Вновь и вновь – который десяток лет – я исследовала свой дом и всё, что имелось в моём доме, всё, что окружало меня с малых лет и окружает по сей день. Кладовка, антресоли, старинный, катастрофически разошедшийся письменный стол с множеством набитых всякой всячиной ящиков. Несколько разномастных чемоданов, вроде фибрового, без ручки, перевязанного закаменевшим ремешком. Ученические портфели, пухлые от моих зачем-то сохранённых, плотно слипшихся тетрадок по арифметике и русскому языку.

Едва ли не по году уходило на каждый ящик, едва ли не по два – на антресоль... А я всё искала. И – странно, невозможно поверить – нашла!

Нашла!

В вещах мамы, которой давно нет, в её старомодном ридикюле с тускло светящимися шариками бронзовой защёлки. В газовый шарфик, хранивший аромат древних духов «Красная Москва», были завернуты две исписанные твёрдым бисерным почерком открытки. Всего две.

Открытки самые обыкновенные, почтовые. Точно такие же присылали когда-то из районной библиотеки, напоминая о не сданных в срок книгах. В таких же когда-то грозились отключить телефон, если своевременно не оплатить.

Твёрдый бисерный почерк.

Я словно бы всегда знала его. Такой понятный, родной. Но невероятно было то, о чём он писал. В этих открытках он писал – обо мне. Писал – мне! Ждал встречи – со мной. «Вот победим и...» Шёл декабрь сорок первого. И всего второй месяц моей жизни.

Обыкновенные открытки...

Самым удивительным, завораживающим, гипнотизирующим было в них то самое слово, единственное, сокровенное, которое я так долго искала. Посылая мне, двухмесячной, – а может быть, и мне сегодняшней? – горячий фронтовой привет, он подписался новым, ещё непривычным для себя званием.

«Папа».

И я повторяю это прекрасное слово, столь простое и столь драгоценное, вчитываясь в расплывающиеся бисерные строки. Я повторяю его без конца, как заклинание, как молитву.

В этом слове – всё. Я буду повторять его всегда.

И счастливые слёзы долгожданной состоявшейся встречи текут и текут из моих глаз.

## Что видит кошка?

Принято считать, что зрение у кошек слабое. Однако кто это установил? Неизвестно. Как это доказать? Непонятно. Лично мне такая точка зрения кажется спорной.

Взять, например, мою кошку. Любит она на подоконнике посидеть, часами в белый свет всматривается. Отнюдь, думаю, не бездумно. Вертит головой, ушками шевелит, и кончик хвоста у неё так и дёргается.

Очень даже заинтересованно всматривается в мир кошка. Можно ли сомневаться в её зрении? Скорее, наоборот. Она, судя по всему, видит не так уж плохо. Если даже не лучше нас с вами.

Но что? Что она видит? Промельк голубей мимо окна? Галок, взлетевших вдруг над крышей соседнего дома? Вероятно... Но промелькнули голуби – и нет их. Осело, будто чаинки на дно стакана, беспокойное галочье племя. А кошка всё смотрит. Всматривается. И всё так же увлечённо.

Пытаясь определить, что же такое она видит, всматриваюсь и я.

Антенны. Провода. Окна домов.

Связка удочек на одном из противоположных балконов. Блёкло-голубые, обесцвеченные морозцем небеса. Деревья – серые, голые, бездыханные. Заслуживает ли это столь жадного внимания?

Старушка бредёт, авоська в её руке оттянута до земли, подтаявших сугробов касается.

Удочки антенн. Антенны удочек.

Но ведь суждено этим антеннам не рыбу из речных волн улавливать, а песню из эфира. Высокая судьба, что и говорить! Впрочем – кто знает? – может, они как раз и не отказались бы от скромного удела удочек, эти высоковознесённые металлические пруты? Выхватить из вод яростно бьющегося тяжёлого окунька – это тоже, согласитесь, приятно.

А вот с удочками всё наоборот. Наверное. Им бы в завидной роли антенн побыть, яблоко-песню с блёкло-голубых морозных небес сорвать в подарок людям. Или хотя бы той самой старушке. Бредёт она, старушка божья, по бесконечным тающим снегам города, оставляя на них объёмистой сумкой прерывающийся штрих-пунктир.

Невыносимо. Выдернув из шкафа и набросив на плечи цветастый павлово-посадский платок, выбегаю во двор. Свети, платок, озаряй снега эти!

– Бабушка, я соседская, давайте помогу! И... Ещё... Если не возражаете...

– А, подмогни, подмогни, внучка, – не дослушивает она, – а то... В магазинчике я была. Хлебушка булку прикупила, рыбки океанической. Теперь недельки две на мороз не выйду, – помолчала и добавила. – Если вообще выйду...

– Бабушка, вы не возражаете? Песню только что передавали, по радио... При помощи антенн-удочек... Нет! Удочек-антенн! – и я запеваю. – «Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, налейте вина...».

Тёплое дыхание словно фонтаном бьёт из моего рта, и клубами пара разливается песня в холодном воздухе, колышется на лёгком ветерке.

Старушка одобрительно и беззубо смеётся. Её дыхание слабое, едва заметное, а смех – хрупкий, как тонкий лёд.

– Спасибо, внучка. Ты... Это... На учёте не состоишь?

Зимой даже в разгар дня чуть-чуть вечер. Впрочем, не так уж безжизненно сер позднемимный двор. Тополя уже почти очнулись ото сна, уже почти дышат. Уже почти слышен их аромат. Их – и бензина.

В разгар дня и зимою может почудиться весна.

– До свиданья, бабушка. Пришли.

– Прощай, внучка.

Я снова одна.

Я довольна собой.

И всё же грустно почему-то.

Вздых накапливается в душе, выдохом вырывается из груди. И клубы пара колышутся на холодном ветру, точь-в-точь как с песней, которую я только что пыталась изобразить.

«Прощай». Почему – «прощай»?

Поднимаю глаза, нахожу своё окно.

Встречаюсь с пристальным взглядом кошки.

Смотрю в её понимающие глаза.

## За хлебом

К любому выходу из дома готовлюсь тщательно. Стараюсь стать почти красивой, почти уверить себя в этом. Даже если выхожу рано утром и только для того, чтобы посетить булочную.

Между тем, времени на булочную очень мало – минут десять – поэтому из подъезда вылетаю, без преувеличения, на всех парах.

И тут же озадаченно останавливаюсь.

Розовощёкий мальчуган лет пяти, экипированный по последнему слову науки и техники. В занесённой над головой руке его – обломок кирпича, в прицеле – котёнок.

– Пстой, малыш! – вскрикиваю я. – Пстой!

Провожу с ним воспитательную работу. Объясняю, взываю. Чуть нудновато, конечно, но как уж получается. Котёнка, на всякий случай, уношу с собой.

Сосед с первого этажа навстречу. Дверь его квартиры, пожалуй, единственная в нашем подъезде, не обита. А из окна – с пыльными свинцовыми стёклами – постоянно доносятся визгливые женские причитания-нарекания. Сплошным потоком, без пауз. Редко-редко и голос хозяина вступает контрапунктом. Убитый, робко оправдывающийся, будто музыкант, игнорируемый дирижёром.

Опустив глаза, сосед пытается пройти мимо, не замечая меня.

Знает, что я знаю... Э, нет!

– Здравствуйте! – говорю ему с лёгким поклоном. – Здравствуйте! – называю по имени и отчеству (отчество специально выяснила). Улыбаюсь приветливо. – Денёк-то, – говорю, – денёк!

– Да-да! – он, кажется, даже выпрямился, приободрился. Кивнул. Мол, денёк и впрямь...

Очень довольная этим, спешу дальше.

Не без вежливого, хотя и холодноватого кивка дефилирую мимо круглогодично озабоченной молодой четы. Подобно двум трудолюбивым муравьям – а вернее сказать, скарабеем – круглогодично снуют они от подъезда к багажнику своего «Жигулёнка». Из багажника в подъезд полную чем-то плетёную корзину тащат, из подъезда в багажник – с виду тяжёлый ящик. И всё повторяется сначала, но наоборот. Без конца.

Другой сосед навстречу. Медлительный светлоглазый крепыш. С этажа выше, прямо над головой. На голове, можно сказать, и живёт. И всё что-то приколачивает там у себя, и стучит, стучит, стучит. Уж его-то дверь не только натуральной кожей обтянута, но и всякой бронзой-никелем инкрустирована. Арка триумфальная, а не дверь. С двумя глазками к тому же, один над другим, – по количеству и росту проживающих. Супруга его и вправду невелика, девочка почти, с пожилым лицом. Ходит чуть боком, вдоль стены, и в глазах её – какая-то постоянная мучительная дума. Она как бы отсутствует, как бы чем-то до самозабвения поглощена. Планом бегства? Так и тянет помочь ей, поддержать. Но чем помочь? Как поддержать? Тройку горячих скакунов к подъезду пригнать тёмной ночью?

Гляжу на часы – время торопит.

Выбираю дорогу покороче.

Сначала – по проспекту, нафаршированному пролетающей мимо бедра гудящей автосталью. Потом – через рынок, где можно чуть отдышаться, а заодно и налюбоваться пирамидами разноплеменных овощей и фруктов, цветов, ягод и всяческих разносолов.

Правда, и здесь приходится прерывать целеустремлённое движение к булочной. Во-первых, помочь обескураженной рыночными ценами старушке отвоевать пару наливных яблок, не поддающихся её плоскому кошельку. Во-вторых, плечистую, с алмазами в ушах, особу пристыдить – чересчур агрессивный торг затеяла она ради пучка укропа. В-третьих, в-четвёртых, в-пятых...

Наконец, булочная.

В этот ранний утренний час за хлебом, оказывается, собралась не только я одна.

Человек десять, нагрузив авоськи – кто золотистым половинцем батона, кто чёрным кирпичиком «Бородинского», – выстроились в очередь к волоокой кассирше. А одиннадцатый... Конечно, без очереди норовит. Гражданин хороший, очередь у нас не какая-нибудь – хлебная! И хоть вдоволь вроде сейчас хлеба, но память о военных и послевоенных хлебных хвостах горька ещё, мучительна. А ну, в общий ряд, гражданин!

Кассирша работает легко, сноровисто. А легко ли, думаете, прямо посмотреть в её невозмутимые лиловые очи и сказать:

– Как же это вы отщипываете по копейке с каждого гривенника, по пятаку с рубля? Что-что? Сами к деньгам пальцы прилипают? Так вы их вымойте, пальчики свои!

Возвращаюсь обратно. Время на исходе. Впереди – встреча с только что проснувшимся мужем.

– Ты выходила? – тянется он за первой, самой вредной сигаретой. – Надолго?

– Минуточек на десять, – я отнимаю у него сигарету. – В булочную.

– И такую на себя красоту навела?

Ответить ему следует спокойно, невозмутимо, даже вызывающе:

– А это всё для того, милый, чтобы явиться перед тобой чуть свет с лёгким сердцем и вот с этим, тёплым ещё хлебом. Впрочем, опаздываю уже, так что – до вечера!

И я мчусь на работу.

## Время

Старик никогда не опаздывал.

Ровно в восемь ноль-ноль он открывал дверку крохотной, расположенной в самом центре города, часовой мастерской.

Из окна своего немного высотного дома я часто наблюдала за мастером. Он сутулился, особенно при взгляде сверху, а из рукавов его выдавшего вида серого полотняного костюма как-то беспомощно висели руки – цепко державшие неизменную газету.

«Что означает, – гадала я, – эта неторопливая походка, весь его как бы додумывающий многолетнюю думу облик?»

И домой он никогда не торопился. Останавливался у сквера, что чуть сбоку от его мастерской, и подолгу сидел в тени, сгорбившись, наблюдая за скандальным городским вороньём. Перекрикивая – точнее, перекаркивая – друг дружку, серые птицы словно обращались к нему: «Ну что, старик, опять сидишь? Опять мучаешься? Да перестань, всё хорошо у тебя. Пенсия, полки с книгами, непыльная работа, живи – не хочу!».

Иногда, чаще всего накануне праздников, старика навещали две женщины.

Одна – молодая, а вторая, как говорится, тоже совсем ещё не старая. Тщательно причёсанные, в шёлковых платьях разной расцветки, они подолгу что-то оживлённо рассказывали старику, не перебивая друг друга, соблюдая очерёдность. Их слегка старомодные, но хорошо сохранившиеся, в тон платьям, ридикюли то слегка покачивались на локтях в ритм разговора, то нервно сами собой раскрывались, а то и внезапно, опять же чуть ли не сами собой, защёлкивались.

Я вообразила, что когда-то две женщины были женой и дочерью старика, но с той поры прошла, должно быть, вечность, и они до сих пор предпочитали не вспоминать о совсем далёких, словно в немом кино, годах.

Уходили они молча и как бы отдельно друг от друга. Гуськом. Впереди – молодая (не такая уж, впрочем, и молодая), позади – старая. Именно так. Старая. Словно подействовало на них сконцентрированное в будке мастера время.

А он после их ухода подходил к столу, где замерла в нескончаемом ожидании изящная китайская шкатулка, и доставал из неё самые безнадежные – в смысле ремонта – часы. Он клал их на свою большую испещрённую морщинами ладонь и, отстранив от себя, долго-долго рассматривал сквозь вставленный в глаз крохотный телескоп, словно редкостную малоизученную звезду.

Казалось порой, что под его пристальным взглядом часы почти оживали, и то одна стрелка, то другая с трепетом какого-то предчувствия готова была вздрогнуть и начать движение. Казалось, что в сокрытых в корпусе пружинах и шестерёнках назревало стремление снова пульсировать и вращаться, забыв о минувших годах и о всепоглощающей усталости.

Старик смотрел на сломанный механизм, на остановившееся время, а часы равнодушно лежали в его ладони и лишь становились всё тяжелее с каждой минутой.

Однажды я встретила старика на улице.

– Здравствуйте! Как вы себя чувствуете?

Удивлённо приподняв брови, он взглянул, никого уже не узнавая, а затем морщинистое лицо его залучилось понимающей улыбкой:

– А... Что, идут часики, тикают? То-то! – и побрёл дальше.

## Свидание

Весь этот день они были неразлучны.

Рано утром, взявшись за руки, пошли вдоль разноцветных длинных заборов куда глаза глядят. В лес... Он нёс небольшую стопку книг, она – авоську с едой.

До леса они, как обычно, так и не дошли – соседские мальчишки, завидев их ещё издали, позвали его играть в бадминтон.

Она присела неподалёку, на самодельную, сколоченную из узких досок неудобную высокую скамейку, листала книги, которые они собирались почитать вместе, отыскивала глазами золотисто-рыжий затылок с высоко взмывавшей над ним ракеткой. И вспоминала...

Этот мальчик, единственное, пожалуй, доказательство того, что всё, о чём грезилось ей, – было. Любовь. Страсть. Мужчина когда-то был в её жизни. Ночи, бессонные и счастливые. Изнеможение от нетерпения и ненасытности мужа. Она купалась в его любви, в его страсти. Властвовала над ним. О, как раболепствовал этот сильный человек, вымаливая у неё толику нежности!

Банально, но как больно вспоминать. И теперь у него – другая. А на смену ярости и негодованию и к ней пришёл другой. Тоже другой. А тот, бывший, словно ему было мало, и ребёнка отсудил себе.

Далёкое, но не забытое прошлое. Досада. Горечь. Старая обида вспыхнула вдруг – сын весь в отца! Бросил её здесь одну ради своей компании, ради бадминтона.

Поднялась и пошла прочь.

Увидев, что скамейка пуста, мальчик тут же побежал за ней по узкой тропинке, густо усеянной хвойными иголками. Даже кеды свои не успел надеть, и они болтались у него на шее на длинном чёрном шнурке. Бежал, то и дело вскрикивая, укалывал босые ступни о жёлто-зелёные иголки, но всё равно бежал, пока не нагнал её почти у самого пруда.

– Мама! Мама!

Она молчала. Что тут сказать?

Но обида улетучилась.

Это было их любимое место. Она прилегла на бугорок, на редкую вытоптанную траву и, закрыв глаза, подставляла солнцу то одну щёку, то другую. Наслаждаясь теплом, легчайшим ласковым ветерком, свежестью воды и радостными воплями мальчугана. Он окликал её уже с другого берега пруда, весь в зелёных ожерельях водорослей, вымазанный тиной. Боялся, что она снова могла исчезнуть.

Она вздыхала.

Снова вспоминала. Уже того, другого.

Ночи бессонной страсти случались и когда она была с ним. Она стала женщиной. Настоящей. Со стыдом сделав вывод, что измена, раня совесть, одаривает женщину чем-то. Тем, что никогда не узнаешь в замужестве. Другой сам изнемогал от её нетерпения и ненасытности. Купался в её любви, в её страсти. Властвовал над ней. И она, раболепствуя, молила его о новом поцелуе, о новом объятии...

Значит ли это, что она стала сильной?

Когда мокрые и счастливые они с сыном возвращались к дому, жители посёлка, посмеиваясь, называли этот чудесный, наполненный неподвижной перламутровой водой пруд канавой, лужей. Они, местные, никогда почему-то не купались здесь. Обсадили пруд ивами, склонившими к воде тонкие и длинные ветви, украсили его плавучим игрушечным домиком с белоснежными наличниками. Пытались ловить здесь рыбу, но к редким – и в основном, заезжим – пловцам относились ревниво, с иронией.

Вечерело. Когда женщина с мальчиком вошли в местный кинозал, её уже охватило предчувствие разлуки. Как-то отрешённо отвечая на частые вопросы сына, почти не глядя на экран, пыталась запечатлеть в памяти высвеченный голубоватым лучом нежный любимый профиль, такой близкий и такой далёкий.

Разом зажглись лампы, и она поняла, что закончился не только фильм, но и весь этот мимолётный день. И снова заборы, заборы...

У ворот мальчика уже ждали.

Его отец. Её бывший.

Чужой, посторонний человек.

Холодно кивнув ей, отец взял сына за руку, повёл в дом.

– До свиданья, мама! – прощание донеслось как бы издалека.

Из прошлого.

## Национальный вопрос

### 1

Мы мчались по бесконечному зигзагообразному коридору – я и моя подруга, Юля. Она, кстати, спешила всюду и постоянно, всегда при этом то опаздывая, то задерживаясь. Спешила и в этот раз, ничего необычного. А вот я за ней едва попевала – медлительная, с широко раскрытыми, вечно удивлёнными глазами.

Я оказалась здесь впервые. Безумно мечтала работать в центральном – главном! – здании. В любой роли, на любой должности. Ради такого вполне можно было и немного пробежаться.

Юля здесь уже много лет. Не последний человек, хотя и носится по коридорам всё так же. Сердобольно помогает меня пристроить по доброте своей.

Юля, Юля... Загнанная какая-то, с печатью тайной, слегка порочной как будто усталости на бледно-розовом кукольном лице. Ещё молодая, но уже с паутинкой тонюсеньких морщин на лбу и вокруг чёрных, навывкате, то нервно или стыдливо блуждающих, то скромно опущенных долу глаз. Словно заранее винилась в чём-то перед любым встречным-поперечным. Словно всем своим видом давала понять: да, грешу, бывает.

Женщина-ребус – так её порой называли. Ребус состоял в том, очевидно, что она абсолютно запуталась в своих старых и новых краткосрочных и начавшихся ещё в предыдущей, девической жизни романах. При каждой встрече со мной она с упоением рассказывала о своих сложных любовных связях с выдающимися, занимавшими руководящие посты. Вот-вот, совсем скоро – рассказывала она на бегу – один мужчина (настоящий мужчина! понимаешь?) сделает ей предложение. Жена у него – толстуха, дети – двоечники. Для него они не имеют никакого значения, пусть и живут все на одной жилплощади. А влюблён он только в неё, в Юлю. Влюблён страстно. Всеми фибрами души пытаюсь не выказать этого внешне. И совсем скоро... Вот-вот.

Мы мчались по бесконечным коридорным зигзагам, на ходу открывая двери всех без разбору кабинетов с умопомрачительными табличками: старший редактор, главный режиссёр, верховный координатор. И только одна фраза, одна и та же фраза врывается вглубь этих вождельных, прекрасных, таинственных помещений.

– Вам человек нужен? Трудолюбивая, русская...

До сих пор стоит у меня в ушах голос Юли, немного простуженный, с лёгкой хрипотцой.

Словно боясь обжечься, безумно страшась услышать в ответ короткий приговор, мы поспешно, с грохотом, захлопывали двери, торопясь оставить равнодушные слова отказа там, внутри, в чьей-то ещё не захлопнувшейся гортани.

– Трудолюбивая. Но почему «русская»? – я шёпотом пихала её в бок. – Я же не... То есть, в паспорте у меня не...

Юля выразительно на меня посмотрела: «Молчи, если хочешь работать здесь».

Надо заметить, что в коридорах мы были не одни. Мимо нас в это же самое время и в том же ускоренном темпе перемещались другие люди. Молнией, вприпрыжку, промелькивали они, деловито хмурясь или бодро улыбаясь, и вслед им с обеих сторон и навстречу слышалось непонятное магическое слово.

– Эфир. Эфир! – повторяла я про себя.

А какие лица! Какие личности! Знаменитейшие, из другого, праздничного, запредельного – эфирного мира!

Вот шкафообразный хоккеист скользит, будто и здесь на коньках. Вот, сотрясая стены, торопится дородная певица в кокошнике и в необъятном цветастом сарафане. А вот, кивая

мне, молниеносно оглядывая с головы до ног, умопомрачительный красавец, которого в нашей державе знают гораздо лучше, чем в его собственной. Такой милый, напудренный. Какой у него бархатный мелодичный голос! Я не могла его не узнать. Поздоровался – значит, и он меня узнал?! Но я же впервые здесь!

Я теряюсь, растворяюсь в этом потрясающе эффектным великолепии одежды и обликов, в этой удушающе пряной смеси дорогих дамских духов, мужского парфюма, сиренево-синих дымов, струящихся из разного сорта сигарет.

– Неужели, – думаю я, – за возможность видеть всех этих людей, общаться с ними и приобщиться к тому, что они делают, мне ещё и деньги платить станут? Неужели?!

Двери, между тем, мы захлопывали всё чаще и поспешнее.

Добрая половина дня уже прошла, но до цели, судя по всему, было по-прежнему весьма неблизко. А по ощущениям даже становилось всё дальше.

Периодически наша рутина прерывалась курьёзными эпизодами.

Например, из одного только что покинутого нами кабинета выскочил вслед нам сутулый человек профессорского вида и заговорщицки, вполголоса назначил свидание ровно через час под лестницей самого верхнего этажа.

– Здесь нельзя! – многозначительно оглянулся он по сторонам. – Конкуренцы!

Этот час показался сутками.

Наш новый знакомый, Март Августович, был краток. Нужна истинно творческая личность. Чтобы и умная была, и активная, ну и... Глаза его не мигали, смотрели в упор, как бы желая убедиться, соответствую ли я столь высоким требованиям.

– А что всё-таки нужно делать? – мне было неловко. Достояна ли? Смогу ли?

– Всё! – ответил заговорщик. – Печатать на машинке. Готовить кофе. Мыть посуду. Улавливать малейшее проникновение не нашей идеологии по телевизору. Одновременно!

Заговорщик ушёл, не прощаясь, лишь уверил, что позвонит сам, когда появится вакансия. Если, конечно, она появится. Когда-нибудь.

Юля растроганно кричала ему вслед, что он не пожалеет, что я самый что ни на есть бесценный кадр, что научиться печатать на машинке и готовить кофе – для меня пара пустяков, а мыть посуду и следить за идеологией – этому и учиться не надо.

И мы вернулись к нашему марафонскому забегу.

Попали к даме более чем средних лет. Чёрная-пречёрная, как галка, в накинутом на плечи оренбургском пуховом платке, она то и дело передёргивала этими пуховыми, но отменно мощными плечами, словно они мешали ей, а она хотела бы поменять их местами. Чем-то она явно была недовольна: то ли нами, то ли самой собой. Кислейший взгляд похожих на незрелые сливы глаз.

В гробовом молчании, внимая монологу Юли о моих несметных творческих качествах, властная дама морщилась, словно перед носом её находился некий дурно пахнувший предмет. А кислые сливы её ползали, меж тем, по моим лаковым тапочкам, как бы ощупывали, проверяли на прочность позолоченную цепочку с крошечным скорпиончиком на моей шее. Громко хрустнув напоследок левым плечом – так передёргивают затвор винтовки – начальница отказала нам, и я едва не упала, испуганно попятившись, такой свирепый взгляд она кинула нам на прощанье.

– Понимаешь, дома у неё неприятности, – оправдывалась Юля. – Её муж и её мама не сошлись характерами.

Несколько минут спустя подруга объяснила причину отказа более откровенно: не приглянулась я сливоглазой. Чем именно? Лак, замша, цепочка. И лицо моё, слишком уж беспечальное. Стереть следовало бы с него во время аудиенции телячий восторг, радость, наивную надежду. Позже я и сама поняла, что одежда моя – всё лучшее, импортное кое-что подзаяла

у подруг – была неуместна. Следовало принарядиться в нечто полумужское, серо-коричневое – в нормальную униформу совслужащих.

Подумать только, и эта угрюмая, необъятных габаритов немолодая дама возглавляла молодёжные программы! Подобных ей, впрочем, здесь всегда было в избытке. Не очень-то счастливые в личной жизни, матери-одиночки или чаще всего седеющие предпензионерки. Проштрафившиеся прокурорши. Бывшие школьные учительницы и бывшие воспитательницы детских садов («Ребята, тихо! – хлопком пухлой ладошки по столу пытались они усмирить творческие страсти некоторых. – Сейчас же успокойтесь! Ребята!»).

Да и трудившиеся здесь представители сильного пола являлись когда-то специалистами в самых неожиданных областях. Юристы, архитекторы, геологи. Спелеологи, железнодорожники, шпионы (они же – разведчики).

Попадались и совсем выдающиеся личности. Был, скажем, один такой мужчина-кроссворд – высоченный, под два метра, с огромными кофейного цвета глазами. Поминутно приглаживая, а затем вновь артистично взъерошивая всей пятернёй свою хорошо прополосканную жгуче-синюю шевелюру, он имел обыкновение ходить по ночам с этажа на этаж, проверяя, не спал ли вверенный ему на время дежурства коллектив. Этим его служебные обязанности, кажется, и исчерпывались.

Блестящий знаток всех мыслимых и немыслимых иностранных языков (даже иврита!), тонкий ценитель женской красоты. Проверен был в своей прошлой жизни, по-видимому, настолько, что мог принимать иностранных гостей самого высокого ранга. И очень изящно принимал их, не без лёгкой иронии извиняясь за погнутые в борьбе с крутозамешанными котлетами алюминиевые вилки. Поговаривали, что по сумме знаний, по природному и наработанному уму, быть бы ему генеральным, а не замом. Однако так уж у нас заведено было в те времена. После товарища Джугашвили представители нацменьшинств на главные роли в партийно-служебной иерархии не допускались. От греха подальше. На вторые, третьи – бывало. На первые – нет.

Кстати, именно мужчина-кроссворд и окрестил Юлю женщиной-ребусом.

А тем временем наше с Юлей стремительное путешествие продолжалось. Шансов на продвижение оставалось всё меньше. Я уже не сомневалась: все вокруг знали, что мне было нужно, и старательно, специально унижали, отказывали, словно капризному ребёнку, тянущему ручки к обольстительной игрушке.

И всякая надежда виделась всё более ложной.

Крайне лысый, безреснитчатый человечек, трясущий левой коленкой – хотелось остановить её, прижать к стулу, хотя бы на время разговора, – на полном серьёзе доверительно сообщил нам:

– Ваше трудоустройство вполне реально, – коленка при этом подпрыгнула до подбородка. – Тут неподалёку, через скверик, ресторанчик есть, «Зелёный орангутанг» называется, так вот, вечером, часиков в семь, после трудов праведных, как вы, согласны, там бы всё и обсудили.

Под занавес – я уже валилась с ног – очередная дверь раскрылась перед нами. Некто белобровенький, как поросёнок, с такой радостью замахал ручками, словно мы с ним с детства были знакомы.

– Нужен, очень нужен нам человек! Нужен редактор, он же корректор, курьер и телефонистка! Приступать – завтра, в девять ноль-ноль. Устраивает это вас, мой юный друг?

Остаток дня и ночь показали тысячелетием.

## 2

До чего же это было здорово: взбегать на рассвете по ступеням центрального здания!

Шедевр деловой архитектуры, возведённый для нас – нет, лично для меня – финскими умельцами. Всё вокруг сплошь из белого мрамора и муарово-серого гранита.

Как я гордилась, протягивая милиционеру пропуск! Это тот единственный случай, когда мне нравилось быть частицей толпы. Вместе с огромной массой людей втекать в этот стеклянный дворец, в эту святая святых. Я гордилась, но тряслась от страха. Вспоминала, как под сердитое ворчанье подруги заполняла в «личном листке по учёту кадров» ту самую пятую графу.

И всякий раз, когда милиционер цепко вглядывался в распахнутые красные корочки, сердце моё бешено колотилось. Вот сейчас, думала я, всех пропустит, а меня подальше пошлёт. Но нет, не посылал. Наоборот, осчастлививал безучастным кивком – проходи, мол. Доверяет, с ликованием думала я.

Милиционеров было здесь пруд пруди. За каждым коридорным зигзагом, за каждым поворотом стоял навтыжку военизированный паренёк со строгой, неподкупной физиономией, на которой прочитывалась скука, порождённая однообразием службы, усталость, какое-то напряжение. Казалось даже, что достаточно было бы совсем небольшого повода, шороха, нечаянного резкого движения – и вся эта огромная, застоявшаяся рать в серой отутюженной униформе и в фуражках с красными околышами кинулась бы крошить и ломать всё вокруг. Надо же дать выход копившемуся годами непониманию царящей вокруг суеты!

Ах, это бремя чужой славы, чужого творчества... Ах, эти знаменитости, всеми мгновенно узнаваемые, почти доступные...

На две части был разделён здешний мир.

Они – артисты, гости. Мы – работники, хозяйева.

Только вот я, мало того, что не артистка и уж точно не гостья, так и в служивую половину как-то не вписывалась. И по возрасту непредпенсионному, и по характеру невыслужливому.

Чтобы получить в скором будущем максимальную пенсию, работники должны были дослужиться до оклада повыше, для чего требовалось совершать всевозможные, почти невыполнимые подвиги. Требовалось доносить, подхалимничать, угощать нужных людей, подлавливать на ошибках ненужных. Это стало для многих почти видом спорта, интересной и по-своему весёлой игрой, а также средством продвижения по службе.

Одна из начальниц – довольно миловидная, похожая на пухлощёкую, чуть состарившуюся отличницу – заслуженно считалась чемпионом подобного соревновательного жанра. Дверь в её кабинет всегда была отворена, для удобства наблюдения. А напротив восседала другая начальница, пониже рангом и тоже с открытой дверью. Так они и перебрасывались взглядами весь рабочий день.

Правда, внешне та, что рангом пониже – а годами гораздо повыше своей визави – служила ей, как верный пёс. Преданно ловила малейшие нюансы настроения на сановном лице хозяйки, приподнималась с кресла при любом подрагивании свеженарисованных бровей.

Обе они происходили из семей военачальников, и в связи с этим в редакции окопалось множество майорш, полковниц, генеральш, а также их детей. Именно им, в основном, раздавались премии, отпуска предоставлялись в лучшие месяцы, а повышение по службе – ко всем праздничным датам. А на головы не обременённых военными мужьями и отцами сыпались выговоры, разносы, увольнения.

Так они жили. Так они работали. Надо же было жизнь чем-то заполнять. Ведь не работой же!

Я – по наивности – как-то показала одному из коллег итог своей однодневной деятельности, три страницы машинописного текста. Всего три страницы. Он очень удивился.

– Да ты трудяга! Сдурела, что ли? Или хочешь показать Анне-Ванне, что ты лучше других?!

Тем не менее, за подобную работу армии дипломированных специалистов платили деньги. И надо было вновь и снова доказывать свою лояльность, ораторствовать на собраниях, хмуриться, чтобы побаивались тебя, врать, будто имеешь влиятельную родню.

Мне почему-то было неловко всякий раз перед кассиршей, когда получала своё жалование. Старалась побыстрее поставить подпись. Казалось, что кассирша хорошо знала, за что я получаю деньги. Она знала, и я знала, что должность, так громко называвшаяся – редактор! – на деле была никому не нужна. Придуманная, случайная. Но за эту должность, за эту работу люди дрались, шли по трупам, мучили друг друга письменными и устными оговорами, ночными звонками домой, угрозами, бранью.

В фойе часто появлялись не очень чёткие фотопортреты в траурной рамке со знакомым лицом, нередко не очень старым. Трагический итог тотальной гнусности, изощёренной тайной и явной вражды всех ко всем, ибо реализоваться, подняться по ступеням служебной лестницы можно было только корёжа жизнь другого.

### 3

Само собой, требовалась и хорошая национальность. Правильная.

Необязательно русская, нет. Она могла быть молдавской, украинской, татарской, армянской – любой, всякой. Только не моей.

Не переставала гадать, как удалось мне сюда проникнуть. Наивная, восторженная, молодая, на первых порах я хотела дружить со всеми, хотела любить всех. И чтобы все любили меня. Иногда чудилось, что ещё чуть-чуть – и мне это удастся.

Однажды, во время ночной смены, в наш огромный, уставленный множеством столов редакционный вокзал вошёл мужчина-кроссворд, второе по значимости телевизионное лицо. Как всегда холодный, невозмутимый, холёный.

– А вы чем здесь, собственно, занимаетесь? – спросил он, глядя поверх моей головы. И пока я собиралась с ответом, едва не потеряв дар речи, проваливаясь в жуткий липкий ужас, он так ни разу на меня и не посмотрел.

– Готовлю аннотационный материал для отдела КПСС!

– Вот как? И вы думаете, этот ваш материал там читают? Гм, – обратились, наконец, ко мне и обожгли огромные сверкающие глаза. – А вы, собственно, кто по национальности?

– Это. Я? Ну... Русская?

Долго потом – его уж и след простыл – приходя в себя, я вспоминала властное, по-восточному знойное лицо, эти глазищи. Они как бы отдельно от лица жили. Автономно.

– А сам-то ты кто? – сердито шептала я ему вслед. – Азербайджанец, да? И что? Ты азербайджанец, а я русская. Ну и что?

А то, что раз в год, а иногда и по два раза, проводились у нас по этому вопросу специальные мероприятия. Раздавались анкеты. Очень подробные, с графой, где одним из пунктов стояла национальность.

– Лучше написать правду, – глядя куда-то в потолок, инструктировала, грассируя, очередная руководящая полковница.

И, разумеется, я писала в анкетах исключительно правду – «русская».

А какая же ещё?

Родилась в русейшем Саратове, в эвакуации. Отец лежит в братской могиле с самого сорок первого, под русейшим Смоленском. Обожаю русскую литературу. Думаю и молюсь по-русски. Люблю светлоглазых и светловолосых русских парней. Мне хотелось быть русской – и я чувствовала себя русской. Кто смеет указывать, кем мне быть?! А паспорт... Формальность!

Через день после того визита в наш вокзал мне позвонили по местному телефону. Пригласили зайти в управление по кадрам. С паспортом.

Седой, в штатском пиджачке, полковник-отставник внимательно полистал краснокожую мою книжицу. И всё время задерживался на одной и той же странице, на одном и том же слове. Смотрел на него и молчал. Страшно молчал. Сердце у меня то стучало, то останавливалось. Потом закрыл паспорт. Молча протянул его мне. Пожал руку. За что-то поблагодарил. Пожелал успехов в работе.

Что это было? Так и не увидел? Не разглядел? Или так и надо было? Или специально держали меня, одну единственную на весь многотысячный контингент, для плана? Для какой-то процентной нормы?

Но я точно знала, что никакой нормы на нас здесь не было. Потому как нас тут быть вообще не должно. Встречались в коридорах люди с явно типичными носами и глазами, но в паспортах их национальности, наверное, значились вполне пригодные.

Навстречу мне, норовя проскочить мимо, мчалась Юля. А следом, восторженно озираясь, поспешал голубоглазый и светловолосый паренёк. Он даже на меня бросил восхищённый взгляд. Не иначе как за певицу меня принял или за кинозвезду.

– Юля! Поймай!

– А, это ты! Слушай, вам там, в редакторате, человек не нужен? Трудолюбивый, русский.

Машинально охорашиваясь – блондин, её подопечный, продолжал смотреть на меня, – я шёпотом рассказывала Юле о произошедшем.

– Будто не понял! Поблагодарил! Руку пожал!

Юля рассмеялась:

– А зачем же им шум поднимать? С них же и спросят. Так что, чувствуй себя спокойно!

Я чувствовала себя спокойно. Да, я солгала, дала о себе неверные сведения.

Но если вдуматься.

Неужели из-за одного слова, из-за нескольких букв я должна лишиться всего, о чём так долго мечтала, что с таким трудом отвоёвывала?

Неужели не стану больше по утрам, красиво одевшись, спешить к троллейбусу, потом в метро, снова к троллейбусу? Мимо крошечного скверика, украшенного местным художником разными замысловатыми теремками и скамьями, мимо ресторанчика «Зелёный орангутанг»?

Не буду вопреки проблемам радоваться всему, что живёт, дышит, движется рядом и мимо меня? Не буду ловить утренних, по пути на работу, восхищённых, как мне тогда казалось, мужских взглядов? Останусь без своего новенького изящного рабочего стола, прямиком из Финляндии, и огромного, во всю стену, окна в старый сад? Без толстенной, чудом сохранившейся липы в этом саду?

Не смогу пить кофе в уютном полутёмном баре, где на высоких стульчиках рядом сидят и мафиози, и помрежи, и курьеры, и вице-министры, и знаменитые дояры? Не смогу кивать любезно бесконечным знаменитостям в зигзагах коридоров и щуриться от блеска их высококачественных белоснежных улыбок?

И всё это – из-за одной единственной графы в анкете, из-за слова, которое не принято произносить вслух. Другое слово – «русский», «русская» – означало для меня чистоту, кропотливость, благодатную замедленность во всём, величавость. Но как нечасто обладатели заветного слова обладали подобными качествами! Партийные акулы, державшие нос по ветру, готовые на всё, дабы усидеть там, наверху, где поездки за границу, номенклатурные мужики и бабы, заветный ресторан только для руководства...

Так зачем мне писать правду?

Я пыталась отмахнуться от произошедшего, заморить червячка совести.

В конце концов, случалось всякое.

Был один смельчак, талантливо имитировавший некоего высшего сановника, изображавший его в лицах. Исчез прямо из грим-уборной. Живым остался, но долго ещё своим неподражаемым русским басом объявлял расписание поездов на Казанском вокзале.

Другой смельчак, облечённый званиями и чинами телевизионный деятель, орденосец, бывший партизанский генерал, взял да и выступил, вооружённый фактами, на самом представительном многотысячном собрании. Начал с разоблачений коррупции, взяток – не дали договорить. Полгода потом проболел и...

А ведь они и другие многие, подобные им, – действительно русские.

Размышляя так, я вздыхала и вздыхала.

Какой-то стыд стала я ощущать с некоторых пор. Да, я люблю всё русское. Но почему же стыжусь всего того, иного? Разве стыдится берёза в лесу того, что она – берёза, а не сосна? Разве стыдится птица в небе того, что она – птица, а не самолёт?

– А меня заставили, заставляют стыдиться себя самой! – пыталась я оправдать себя. – Я вынуждена скрывать... Чтобы работать... Чтобы жить... Загнана в угол!

Оправдания были уважительными, но совесть не унималась. Гордость не унималась. Повела как-то о причине своих вздохов блондину, с которым меня познакомила Юлия. В нашу телефирму его не взяли, но он, по его словам, не огорчился, поскольку встретил таким образом меня.

– Что-то не пойму, – поднял брови этот белокурый ариец, – ты часом не той ли национальности?

– Да, той. Той, той самой!

Что-то со мной произошло вдруг. Нервный срыв? Истерика? Странное облегчение? Я повторяла и повторяла запретное слово. Выхватив из сумочки паспорт, тыкала пальцем в злополучную графу. И мысленно представляла, как напишу вскоре правду, чистейшую правду в протянутой мне анкете.

– Видишь? Ты видишь? – громко вопрошала я у опешившего друга. – Ты подумай, прежде чем. Мы с тобой не два сапога пара! Понимаешь, кто я? Я не могу, не имею права на... Меня уволят, выгонят!

Он неожиданно рассмеялся. Вытащил бумажник, а из него – паспорт:

Та же самая графа. То же самое слово.

– Сама посмотри, я ведь тоже...

Ох, и насмеялись мы в тот день. А я – так ещё и наревелась.

История эта, впрочем, давняя.

Меня и в самом деле ушли с фирмы. Многое постепенно выветрилось из памяти, обида почти заглохла. И сейчас по-другому там всё, наверное, на Центральном Телевидении? Благородные, добрые, чистые люди там нынче все до одного? Бегут, торопятся, спешат по бесконечным зигзагообразным коридорам...

И, как я слышала, не только одни русские.

## Лав-стори

### 1

Ей уже двадцать шесть, и она по-прежнему моложе всех.

Семь лет отдала она машинописному бюро несчастьяэтажного НИИ. Самой молодой пришла, самой молодой и остаётся. Более того, становится всё пригляднее. Благодаря голубоватой седине, искусно сделанной знакомой мастерицей, серенькие глаза теперь загадочней, глубже, а короткая, ёжиком, прическа делает её похожей на паренька. Джинсы и курточки, некогда легкомысленные, подобраны теперь строже и с умом, дабы подчеркнуть достоинства не в полной мере совершенной тоще-худой фигуры.

Рабочий стол Елены Викентьевны – Элен, как она себя называет, – стоит в углу, вплотную к дюралевому подоконнику. В этом есть свои преимущества. Одинокое дерево – хоть какая-то зелень! – шевелит под окном листочками, а внутренняя рама всегда приоткрыта, и Элен, сидя на холодном металле, с комфортом общается со своими невидимыми собеседниками. Голос у неё при этом напряжён и как-то обиженно подрагивает. Да ещё и приходится ей из-за плохой слышимости, закрыв глаза, по несколько раз и весьма громко повторять в трубку довольно интимные, едва ли предназначенные для постороннего слуха слова:

– Встретиться? Потереться носами? Нет, не в этот раз. По личным причинам. Нет, по телефону вряд ли получится. По видеотелефону? Вприглядку? Ха-ха-ха!

Но уже через пару-тройку дней она отпрашивается с работы по неотложной, крайне уважительной причине: должна кого-то встретить. Или, если «здоровье позволяет», прикрывая ладонью телефонную трубку, обиняками объясняет, как поточнее добраться до её дома. До её двери.

– Да, второй этаж! Жду! Шампанское? Полусухое! Воздушные шарики не забудь, да, те самые. Хорошо, аромат твоих любимых духов встретит тебя уже в подъезде!

В машинописном бюро тем временем происходят перемены.

Распределительницы работы – неизменно строгие, не очень молодые и очень полные дамы в очках – меняются одна за другой. Они не совсем довольны столь явным свободомыслием Элен, но молчат. Завидуют? Считают её слишком эмансипэ? Если бы они только знали!

Появляются долговязые, непременно в партикулярной тройке, при галстуках и с кейсом в руках, стеснительные юноши из других отделов. С ними начальницы говорят сухо. Не по делу же пришли, ясно как день.

Если накануне молодой человек поджидал Элен у проходной, то утром их обоих обязательно можно увидеть вместе в столовой, расположенной на одном из верхних этажей. Он заполняет оба подноса холодными закусками, а она властно заказывает и щебечет, щебечет, щебечет, запрокинув счастливое лицо.

Как правило, этим утренним столовским кофе короткий роман и завершается. Увы, не бóльшим. И Элен всё чаще задумывается.

Она как будто сопротивляется этим звонкам, этим встречам, помогающим её невидимкам. Количество их как будто переходит в качество, и они становятся отвратительны – иначе, почему бы она так брезгливо гримасничала при разговоре? И чтобы отделаться от встречи, пускает в ход уже не только соображения здоровья.

Элен задумывается, надолго и глубоко.

Не слышит, бывает, если к ней зачем-то обращаются, и подолгу смотрит на одинокое дерево, зеленеющее под окном. Когда же ей протягивают рукопись для перепечатки, она глядит на неё с полнейшим недоумением.

А звонки... Звонки раздаются всё реже. Да и она уже не набрасывается на трубку, а просит говорить, что её нет на месте, что она серьёзно заболела, умерла. Распределительницы – чаще всего уже совсем не молодые дамы в тёмных роговых очках – с плохо скрываемой радостью, даже с мстительным торжеством в голосе отвечают:

– Вы знаете... Элен... Елена Викентьевна ещё не появилась... Не знаю... Не могу сказать... Хорошо, передам...

Иногда брови их озадаченно поднимаются, а удивлённый взгляд устремляется на сидящую тут же рядом Элен – голос в трубке, по-видимому, женский. Но они молчат.

Когда же по телефону приходится вдруг отвечать самой Элен, слышится только иронично-саркастичное:

– Неужели? Гм...

Или не совсем понятное:

– Зависит...

А однажды и вовсе невыносимое:

– Я завязала с этим, поняла? Завязала!

Бросает трубку и застывает в неподвижном созерцании своего законного дерева, и дерево словно помогает ей сосредоточиться на решении, ещё не окончательном, но уже необходимом, без которого нельзя жить.

Молодых людей, пусть и редко, но всё ещё посещающих машинописное бюро, она отправляет восвояси.

– Не мешайте работать!

Или как-то горьковато-вымученно советует:

– Поищи на бульваре...

Она уже не убегает ежечасно в бар покурить, выпить чашечку кофе. Над ней, если она отлучается, уже не подшучивают. Новенькая электрическая пишущая машинка жужжит под её летающими пальцами почти непрерывно. И лишь изредка по лицу её катятся слёзы, которых она не замечает, хотя бьют они по тем же самым клавишам.

## 2

Очередную нынешнюю начальницу Элен отметила некоторой снисходительной симпатией. Тем более, что Ирина Николаевна – так её звали – была весьма умеренной полноты и даже не носила очков. Задержавшись каким-то образом в машинописном бюро, она устраивала, очевидно, и тех, кто был сверху, в Учёном совете, и тех, кто обитал в самом низу, то есть, полтора десятка машинисточек.

– Ну что? – не отрываясь от стрёкота клавиш, обратилась к ней однажды Элен. – Как поживаешь? Одинокая, так? В коммуналке? Семь комнат, восемнадцать жильцов, из них пятеро детей, от двух до десяти лет? Не считая трёх кошек, двух собак, пары попугаев, пары канареек и тьмы тараканов. Так?

– Так, – кивнула ошарашенная Ирина Николаевна. – Правда... комнат одиннадцать, собак четыре, а в прихожей зимует мотоцикл. Но... Как вы догадались?

– Не замужем, – невозмутимо продолжала Элен, не поворачивая головы. – Мужики, само собой, были да сплыли.

– Да, но... Откуда вы знаете?

Тут Элен взглянула на неё, наконец, устало откинувшись на спинку стула. Не взглянула – осмотрела с головы до пят оценивающим и каким-то почти мужским взглядом.

– Откуда. Оттуда. Сама такая, – помолчала и добавила:

– Талия у тебя классная. Хочешь, давай дружить?

Ирина Николаевна что-то ответила на это, но так и не смогла вспомнить, что именно. Наверное, согласилась, судя по странному, возникшему после этого разговора возбуждению. У неё было такое чувство, будто какой-то хамоватый дёрганый паренёк глаз на неё положил.

Вспомнилось неожиданно, как недавно, дня три назад, шли за ней двое. По пятам шли. Относительно молодые, плечистые. Балагурили нарочито громко. Баллы ей выставляли. И за талию, и за так далее: за причёску, за некогда ярко-зелёные, а теперь слегка выцветшие замшевые туфли. Она готовилась уже к знакомству, к свиданию. Прикидывала, который из двоих будет настойчивей?

– Да она же перестарок! – воскликнул разочарованно, забежав вперёд и оглянувшись, один из них.

Поразило её это, обидело не на шутку. В сорок два – перестарок?

Нет, молодость прошла, конечно. Давно не провожали её мужчины заинтересованными взглядами, хотя казалось, что буквально вчера она ещё, случалось, нравилась. Приходилось порой даже делать вид, что не к ней относились одобрительные, а то и не совсем пристойные взгляды сослуживцев, прохожих. Как странно, несправедливо, что всё ещё довольно молодежавшие люди, те самые, которым она нравилась когда-то – она по-прежнему узнавала их на улице, усатых, с погустевшими бородками, чернота которых простреливалась уже иголочками седины – равнодушно скользили по ней взглядами, будто по манекену, по муляжу, выставленному в витрине.

Перестарок? Ничего-ничего! Она себе и зарядку беспощадную пропишет, и положительные эмоции придумает, и на полуголодную диету сядет (что совсем не сложно при её бюджете). Аэробикой, наконец, займётся, кун-фу, самбо. А может, на другую, более перспективную работу перейдёт, в какой-нибудь кооператив? Это омолаживает, бодрит...

Но это потом. А пока Ирина Николаевна сидела за столом в своей комнате в коммуналке и поила чаем Элен, согласно устному приглашению. Та бутылочку «ноль семьдесят пять» принесла, три розовые гвоздики.

Сидели, сплетничали, на американского христианского миссионера-миллионера по телевизору глядели. Из-за двери просачивались в комнату звуки коммуналки: плач, хохот, нестройный хор остальных телевизоров, водопадный грохот спускаемой в туалете воды, ароматы жареного лука и нового, сомалийского, средства от насекомых.

Поздний час подступил незаметно – не ехать же гостье домой в свою такую же келью, тем более что завтра утром им обеим в один офис.

– Замётано, Ириш! Развязываю! Надоело одной. Кровать у тебя двуспальная, потрёмся, как говорится, носами...

Ирина Николаевна не совсем её поняла. Но, оказавшись под одеялом, Элен – Лёнчик – принялась энергично извиваться, щекотала едва сдерживавшуюся от смеха смущённую начальницу, оглаживала её, целовала шею, плечи, грудь.

– Какая ты! Оладушек!

Взобралась на неё и, лёжа на колыхавшемся животе, убеждала представить, что она – Лёнчик – мужчина. Раздвинула сильными, мосластыми коленями её жаркие окорока и... Будто и впрямь мужчина на ней был, молодой, дерзкий, беспощадно добивающийся своего. И эти слова его, её:

– Дай губки, Оладушек! Тебе хорошо со мной?

У Ирины Николаевны перехватило вдруг дыхание, и сдавленный счастливый стон, годами копившийся внутри, вырвался наружу. Очень громкий, надо сказать, стон. Даже крик, скорее.

Это обстоятельство – темпераментность Ирины Николаевны – незапланированно для неё самой вызвало необходимость запуска на полную громкость старенького проигрывателя, а именно: пластинки с иностранной мелодией «Лав-стори». И в этот раз, и в последующие.

Соседям, однако, были не по нраву ни музыкальные, ни прочие децибеллы. Возникла идея. Съехаться?хлопотное дело, но зато!...

Обменяли отдельные жилплощади на общую, смежно-двухкомнатную, плохонькую, на пятом, без лифта, этаже панельной «хрущобы», показавшейся обеим обителю райской. Как хорошо без мотоцикла в прихожей, без хора телевизоров, рёва ежеминутно спускаемой воды и чьей-то чуткой ушной раковины, приставленной с той стороны двери!

### 3

Жили.

Лёнчик перешла на другую работу. Ирина Николаевна осталась там же.

Заработки свои поначалу тратили сообща: Ирина Николаевна хорошо готовила, умела экономить. Они посещали выставки собак и кошек, кинотеатры. В тёмных фойе и залах украдкой запускали пальцы куда не следует, лаская одна другую, подражая происходившему в воображении и на экране. И как будто ночей в постели не хватало.

Не обходилось без проблем, без ссор. Но семья есть семья, утешала себя Ирина Николаевна. У всех так бывает. Как там у Льва Толстого? Каждая семья счастлива по-своему, а несчастлива одинаково?

Пропадала иногда Лёнчик, ночь-за полночь домой являлась, коньяком от него – от неё – несло. Бывало, что и на двое-трое суток исчезала. Ирина Николаевна ловила себя на том, что думала о своей сожительнице – о своей подруге, о соседке по квартире – как о непутёвом, но горячо любимом супруге, муже. Привалило ей на сорок третьем году, не одна она теперь. Прилепились друг к дружке две души живые. Кому это мешает?

Ирина Николаевна покраснела, прислушиваясь к ускорившемуся во всех жилочках бегу крови. И тут же, опомнившись, от страха похолодела: она же старше Лёнчика была на целых шестнадцать лет! Скоро, лет через пять-семь, действительно перестарком станет, действительно старухой. А он – она... Ей же сейчас всего двадцать шесть с небольшим!

Когда Лёнчик в очередной раз заявила под хмельком, Ирина Николаевна, накрывая на стол, тщательно сдерживая слёзы, стала ей выговаривать: дом забыла, шляется с кем попало, где попало. Другую завела?

– Почему же другую? – дерзко вопила в ответ из ванной Элен. – А может, другого?! Что я, мужика себе не могу найти? Обречена на баб, вышедших в тираж? Да меня бизнесмен один подцепил, мы с ним на «Мерседесе» все валютные бары объездили!

Всему есть предел. И у Ирины Николаевны тоже нашлось достоинство.

### 4

Элен, вопреки надеждам-ожиданиям, согласилась с разездом легко и быстро. хлопотное дело, но надо!... Обратнo в две коммуналки.

Ирина Николаевна, привыкшая к прежнему новому жилью, невольно огляделась.

Окна покрыты снаружи толстым налётом жирной пыли, почти копоты, но здесь, внутри, в общем-то терпимо. Паркет, правда, щербатый, как клавиатура в старом рояле. Трещина на потолке похожа изгибами на какую-то великую реку на карте. Одно утешало: у подруги – или как теперь её называть? – келья едва ли была лучше. Вот, скажем, вместо паркета у неё положен линолеум, с которого мусор подметать – целая проблема. Наэлектризовывается он и прилипает.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.